

Владимир Одоевский

Сиротинка



Владимир Федорович Одоевский
Сиротинка
Серия «Сказки дедушки Иринея»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646215
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

«У обгоревшей избы сидела, подгорюнясь, восьмилетняя сиротинка. Вчера Божий гнев посетил её мачеху; ни с того ни с сего показался огонь из подполицы, пополз по брёвнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышку – да и выжег всё без остатка...»

Владимир Федорович Одоевский Сиротинка

У обгоревшей избы сидела, подгорюнясь, восьмилетняя сиротинка. Вчера Божий гнев посетил её мачеху; ни с того ни с сего показался огонь из подполицы, пополз по брёвнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышку – да и выжег всё без остатка; едва домашние успели выскочить да кое-что хлама повынести; собирались и миряне с соседних домов; смотрели и дивовались, что горит изба словно свечка перед иконою; иные смекали, что если б не затишь, то несдобровать бы и целой деревне. Ночью навалился снег и прикрыл пожарище; лишь торчали чёрные головы между сугробами да задымленная печка. Утром взошло солнце: тихо смотрело оно сквозь алый туман и на пожарище, и на сиротинку; золотые искорки мелькали в воздухе; дым из труб низко тянулся между кровлями; тяжёлые вozy скрипели по застылому снегу; колокольчик то звонко раздавался, то замолкал в далёкой степи...

По дороге бежал мальчик лет двенадцати, спустив рукава у рубашонки и похлопывая кулаками от холода.

– Бог помощь, Настя! – сказал он, поравнявшись с пожарищем.

– Спасибо, Никитка! – отвечала Настя печально.

– А мачеха где?

– Пошла милостыньку собирать.

– А ты же что?

– А мне вот велела за хламом смотреть...

– А била мачеха больно?

– Нет, сегодня ещё не била...

– А вчера била?

– Вчера била...

– А за что?

– Известно, за дело: не будь голодна...

– Эвося! Голод-та не свой брат... Вот батька твой не таков был; бывало, и меня пряником кормил... Эка! Посадила девку... Ты смотри, рук-то не озноби...

– Нет, пока ещё солнышко греет... а вот как зайдёт, так и не знаю, что будет; вчера хоть у пожарища согрелись...

– А ты знаешь... хоть к нам приходи отогреться... право, приходи... матка слова не скажет... Ге, ге! Гнедко-то уплёлся, и не догнать его... Так, слышишь ты, приходи отогреться: у нас печка широкая...

Но Настя не пришла отогреваться; куда она девалась, Бог знает. Говорили, что той порой у постоялого двора остановилась колымага, что вышла из неё какая-то боярыня, что увидела она Настю, что потом послали и за мачехой, и за сотским, что боярыня с ними долго толковала, а потом Настю усадили в колымагу. А куда Настю увезли и зачем увезли,

Никитка ни от кого не мог добиться; лишь мачеха, всхлипывая, говорила, что у ней по Насте сердце болит, а миряне поднимали её на смех и толковали, что она от барыни денежки неплаканные получила.

С тех пор прошло года четыре и больше. Одряхла, обесилела Настина мачеха, с горя ли, с огневицы ли, что к ней припала; уж ходить ей стало невмочь. Однако собралась с силами, пошла с поклоном к пономарю, и написал он ей грамотку к Насте о том, что-де пора ей домой воротиться, её, старую, приберечь, за неё по миру побродить, как умрёт – похоронить да за упокой души поминать. Шли тогда парни в Питер, взяли ту грамотку передать и месяцев через шесть в самом деле передали её Насте.

Воротилась сиротинка в деревню, но уж мачехи не застала: преставилась горемычная. Но Настя не захотела жить мирским подаянием; она приютилась у дальней тётки – старушки доброй и не одинокой. Начала Настя с того, что то сыну рубашку сошьёт, то дочери, а не то выстирает, да и маленьких детей то обмоет, то вычешет, то тётке к празднику ширинку вышьет. В деревне долго смеялись над сиротинкой, что она одета не по-нашенски, а ей, бедной, и перемениться было нечем; посмеялись, посмеялись, а потом попривыкли; а когда узнали про её рукодельство, то к ней же стали приходиться: кому рубашку выкроить, кому повязку вынизать, кому плат обрубить. Дошла весть о том и в соседние деревни, и в боярские дома, так что у Насти в работе и тонина завелась,

и вышивала она для барышень оборки гладью и решёткою – всему свету на удивление. Вот – сперва гроши, потом гривны, ино место и рубли начали перепадать к сиротинке, и стала она тётке не в тягость, а в подмогу.

Пришло лето. В ясную погоду Настя выходила с работой на луг, что у погоста, и садилась под дубом; тут ни с того ни с сего начали к ней собираться ребятишки, сперва на неё поглазеть, а там и на то, что у неё за рукоделие? Настя никого прочь не отгоняла, а, напротив, ещё сзывала: и с каждым днём всё больше и больше вокруг неё ребятишек набиралось. Иногда, по старой памяти, приходил сюда и Никитка; оперев руки в боки и выпучив глаза, он смотрел с удивлением на Настино рукоделье, прислушивался, о чём она толковала, и старался понять, где она так наострилась.

В то время поступил в село новый священник. Часто сизивал он у окна, с книгой в руке, а иногда поглядывал и на луг, где собирались ребятишки вокруг Насти. Детский говор так и рассыпался у открытого окошка.

– Эх! Матрёша, – говорила Настя одной девочке, – рубашонка-то у тебя разодралась, что бы тебе зачинить?

– И рада бы зачинить, – отвечала Матрёша, – да иголки нет.

– Вот тебе иголка! – сказала девочка постарше.

– А у тебя, Соня, откуда иголка взялась? – спросила Настя.

– Я у невестки взяла.

– Что ж, она тебе сама дала?

– Нет, куда! Она бы не дала, я сама взяла.

– Нехорошо, Соня!

– Ничего, у неё ведь много иголок, да и сама она на жнитво ушла, до вечера домой не придёт, ни за что не узнает.

– Хорошо, – отвечала Настя, – невестка-то не узнает, да другой кто-нибудь узнает... Ну, кто мне скажет: кто такой всё видит и знает, что мы делаем?

– Бог всё видит и знает! – отвечало несколько тоненьких голосов.

– Так видишь ли, Соня, – продолжала Настя. – Бог-то и видел, что ты украла чужое добро. Поди же, поди поскорее, отнеси иголку туда, откуда взяла, а я пока с Матрёшей своей поделюсь.

Соня покраснела, надулась, однако побежала в избу, через минуту опять возвратилась и сердито присела к кружку боком.

Между тем Настя всем дала работу: кому нитки мотать, кому верёвку плести, кому чулок вязать.

– А не рассказать ли вам сказочку, – сказала Настя.

– Да, сказочку, сказочку! – пролепетали дети.

– Ну-ка, посмотрим, – сказал Никитка, – мастерица ль ты сказки рассказывать, даром что ты на все руки.

– А вот, послушай, – отвечала Настя, – да только, чур, не перерывать! Видишь ты, в одной деревне, недалеко отсюда, жил-был мальчик по имени Игнатий. Отец его, Прокофий, ходил в город в заработку да и Игнашу почасту водил

с собой. В городе Игнаша приглянулся купцу. «Оставь у меня малого-то, – говорил он Прокофью, – я его буду одевать, обувать и кормить, да ещё выучу его, так что он, пожалуй, когда придёт пора-время, и сам купцом станет». Прокофий подумал, подумал про свою бедность да бездомство и согласился. С тех пор жил Игнаша в городе, в большом доме и каждый день был обут, одет и накормлен. И что ему купец ни поручал, Игнаша всё честно исполнял: и всякие товары, а ино место, и деньги носил, и никогда его купец ни в чём дурном не замечал. Раз принесли купцу целый мешок серебряных гривенничков да пяточков, сроду Игнаша не видывал столько денег, и долго он любовался, смотря, как купец звенел по столу гривенничками и расставлял их в кучки, чтобы лучше счесть. Вот купец счёл деньги, ссыпал их снова в мешок, мешок положил в сундук, запер и вышел вон со двора. Игнаша, глядь, ан на столе остался один пяточок, да такой хорошенький, новенький! Хотел было Игнаша закричать купцу, что пяточок забыл, да остановился, а остановившись, позадумался; а как позадумался, то на душе у него как будто кто и заговорил: ведь у купца целый мешок пяточков, что ему в одном? Да и не заметит он, а тебе пригодится. Прислушался Игнаша к лукавой своей речи да и положил пяточок в карман. Купец и подлинно не заметил, а Игнаша купил пряник на пяточок, а как съел пряник, ещё захотелось. Улучив время, он у купца уже не пяточок, а целый рубль украл. И рубля стало ненадолго. С тех пор напала на Игнашу тоска по

деньгам; только и думал о том, как бы деньги стянуть. Сперва он крал по рублям, потом украл десять рублей, а потом всё больше и больше: да однажды, говорят, столько денег у купца стянул, что и не счесть. Что ж вышло? Вот видели вы ономедни, вели по деревне колодников в цепях, в кандалах, и Игнаша с ними был – тоже колодник! И говорил он мне: «Ах, Настя, Настя! Пятачок меня погубил! С пяточка я начал, да вот до чего дошёл!»

Дети слушали молча, разинув рты, как вдруг Соня залилась слезами, бросилась на шею к Насте и проговорила:

– Я отнесла иголку... я вперёд не буду брать иголок у невестки.

– Хорошо сделала, – отвечала Настя, поцеловав её. – Ну, полно, полно: что было, то прошло; вперёд не делай.

Никитка повесил голову и крепко призадумался, потом подошёл к Насте, отвёл её в сторону и сказал, запинаясь:

– А за что же, Настя, ты меня-то обижаешь? Ведь я только подумал, а красть не крал, право слово, не крал.

– А таки подумал? – отвечала удивлённая Настя, улыбаясь.

– И не раз подумал, смотря, как отец деньги считает... Посмотрю я на тебя, Настя, никак ты колдунья!

– Колдунья не колдунья, а неспроста.

– Я и сам смекнул, что неспроста: как ты заговорила, так инда дрожь проняла и слеза пробила... так что теперь и думать не хочу...

– Смотри ж и не думай, а то опять узнаю.

– Нет, право слово, вот тебе Господь Бог, я думать брошу...

Между тем дети притихли. Настя обернулась к ним, ударив в ладоши, затащила песню, и все дети, став один за другим, принялись подтягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка туда же.

Священник с удивлением смотрел на эту необыкновенную в наших сёлах картину. Наконец он позвал Настю к себе.

– Скажи мне, что ты делаешь с детьми? – спросил он.

– Да ничего, – отвечала Настя. – Учу их рукоделью, песни петь, молитвы читать.

– Доброе дело! – возразил священник. – И дети с тобой не скучают?

– Не знаю, может быть, им было бы веселее в деревне бегать, собак бить, да там, на конце, под ёлкою, слушать, как мужики песни орут и бранятся.

– Да отчего же они не убегут туда?

– Кажется, оттого, что *им некогда*: здесь им вокруг меня много работы: то одно, то другое. Когда замечу, что одно надоест, примусь их потешать чем другим: они как-то и позабудут и о собаках, и об ёлке, а время между тем идёт да идёт...

Священник задумался.

– Да кто же тебя-то этому научил? – спросил он наконец.

– Я и сама не знаю, батюшка, – отвечала Настя, – как я этому научилась. Жизнь моя уж такая была Божьим промыслением. Видите, я из здешней же деревни; не было у меня ни отца, ни матери, а жила я при мачехе, оттого и пошло мне прозвище: *сиротинка*. Раз ехала здесь одна барыня; мы в ту пору погорели; лицо ли ей моё приглянулось, так ли она над нами сжалилась, только дала она мачехе денег, а меня увезла в Питер, к себе в дом. На первых порах приводили меня к ней в хоромы, показывали меня гостям и лакомили, да велела она приходить к ней каждый день, чтобы обо мне не забыть. Только потом барыне стало как-то некогда: приду к ней, то она едет, то уехала со двора, то одевается, то гостей принимает. Тем временем жила я у ней во дворе между чужими: грустна и темна была моя жизнь. Бывало, не только меня никто не приголубит, а иногда целый день и не накормят; и уж доставалось мне, горемычной, от слуг в барском доме: только и видела, что толчки, только и слышала, что зовут меня дармоедкой; говорили, что барыня взяла меня, да сама не знает зачем. Приходилось мне невтерпёж. Однажды, проголодав целый день, поплелась я в барские хоромы и просила усиленно, чтобы меня к барыне допустили. Как наконец доложили ей обо мне, я сквозь двери услышала, что барыня прогневалась и вскрикнула: «Ах, как она мне надоела!.. Не до неё мне теперь... Скажи, что после...» Я вся так и обомлела. Не понимала я тогда, что со мной творится; знала только, что некуда мне головы приклонить. Часто хотелось

до деревни добраться, чтобы по крайней мере с своими быть, хоть опять к мачехе, но как за это приняться – не знала. И была я всё это время будто во сне и как собачонка лишь искала, где бы поесть да как бы на печке погреться да от побоев укрыться. Однажды ключница взяла меня за руку и говорит: «Ну, пойдём-ка, нашли тебе место, не век тебе баклуши бить, вот я тебя в школу отведу, в ученье, там тебя каждый день сечь будут, забудешь день-деньской есть просить да съестное красть».

Я испугалась, затряслась всем телом, а делать было нечего, поплелась я за ключницей, думая, что тут и смерть моя будет. И теперь об этой минуте без ужаса вспомнить не могу. Пришли мы в какой-то дом, был он недалеко, вхожу – вижу: пропасть детей, моих же лет, сидят все рядышком на скамейках; и жутко и страшно мне стало. Но вот подошла ко мне какая-то женщина: ключница поговорила с ней о чём-то, чего я не поняла, поговорила и ушла. Оставшись одна, я ещё больше испугалась, но незнакомая женщина, которая, как я узнала после, называлась смотрительницей, приласкала меня, вычесала, вымыла, дала мне сбитню и потом посадила на скамейку между другими детьми. Дети пели песни, играли, бегали, ходили мерным шагом, но всё это мне казалось страшно, всё я дичилась, всё сидела поодаль и только того и ждала, скоро ли меня сечь станут: одно это я и понимала; но, однако ж, меня не высекли, а ещё накормили. К вечеру смотрительница опять меня приласкала, отпустила домой и

велела на другой день приходиться пораньше. До дома, как я вам сказывала, было недалеко: всего двора через два. Хоть меня в школе и не секли, но я очень обрадовалась, что отпустили домой, прибежала я опрометью, нашла свой уголок, свернулась в клубок, крепко заснула и проспала бы до обедни, если бы повариха не выдернула из-под меня войлока и не толкнула ногою. «Убирайся ты отсюда в школу, – сказала она, – и без тебя тут тесно». Не знаю, зачем поварихе хотелось меня выгнать, а сдаётся мне, что у ней в это время было на уме что-то недоброе и что я ей в чём-то мешала.

С испуга и не зная, куда деваться, я побежала в школу; помнила я, однако ж, что там вчера меня напоили сбитнем и накормили. Говорю вам, батюшка, что была я точно собачонка: только одну еду да побои понимала. В школе меня опять приласкали, вычесали, вымыли, накормили: мало-помалу я стала привыкать и, смотря на других детей, делать то же, что они. Смотрительница показывала нам картинки, рассказывала сказки, учила петь, показывала нам деревянные дощечки и заставляла угадывать, какая на какой дощечке буква. Сама не знаю, как промеж игры, пения, ходьбы я выучилась и грамоте, и выучилась кое-как писать; иногда приходил к нам и священник и поучал нас от Святого Писания. В это время я будто начала просыпаться; стала понимать, что значит хорошо или худо делать, а всего больше научилась молиться. Скоро мне сделалось в школе так утешно и весело, что я и не замечала, как время проходило. Когда приближался вечер,

я уже нехотя возвращалась домой, где опять видела только толчки да слышала злые речи, но уже меньше прежнего, потому что я старалась уходить из дома как можно раньше и приходить как можно позже, так что днём меня никто не видел, а ночью все спали.

Так прошло два года, я не только привыкла к приюту (так называлась эта школа), но ещё скоро сделалась там из первых. Часто приезжал к нам доктор, дамы, лаская меня, хвалили, повязывали мне на голову красный шнурок, часто ставили меня на подмости и заставляли учить новоприходящих.

Наконец исполнилось мне десять лет, и раз смотрительница сказала мне, что ей очень меня жаль, но что мне нельзя больше оставаться в приюте, что я уже из лет вышла; что, однако же, за то, что я хорошо себя вела и хорошо училась, меня возьмут в другую школу, где я выучусь тонкому рукоделью. Я узнала, что приют тот содержат прямо добрые люди, не из корысти, не из чванства, а так – за любовь.

Так и случилось. Перешла я на житьё в Частную школу (так называются такие школы в Петербурге), и сказали мне, что тою школою управляет Царевна. Это снова меня испугало, но девушки часто меж собою говорили, что Царевна – предобрая, и это меня успокоило.

Я уж была не так глупа, как прежде, не дичилась, а старалась прилежно учиться, работать и часто молилась Богу, чтобы Он помогал мне. Бог услышал мою молитву, и скоро

моя работа стала из лучших. Выучилась я также чисто писать, читала я громко и явственно и всегда была исправна.

Часто в школу приезжала к нам и Царевна; она часто заставляла то одну, то другую из девушек читать или писать и пересматривала их работы, хвалила и хулила. Но меня Царевна как-то не замечала, и боялась я, и хотелось мне, чтобы она меня вызвала. Вот однажды очередь дошла и до меня, так у меня коленки и подогнулись, но я скрепилась, сотворила в сердце молитву и вышла. Царевна милостиво спрашивала меня о разных вещах по нашему учению. Кажется, мои ответы ей понравились; она заставила меня читать, писать, считать, спросила мою работу и всем так была довольна, что взглянула на меня, ангельски улыбнулась и сказала: «Хорошо, что ты прилежна – и тебе хорошо, и другим пригодится». Я и плакала, и смеялась, то страшно, то как будто стыдно мне было, что дождалась я такого почёта, и хотелось мне, по-деревенски, прикрыться рукою, но рука не поднималась; то становилось мне отрадно и тепло на душе, и вспоминала я про старое время; как будто я снова на коленях у родимой матери, словно она поёт надо мною тихую песню и приголубливает. Памятна была мне эта минута, никогда её не забуду. Как теперь гляжу в светлые, весёлые очи прекрасной Царевны, как теперь слышу её звонкие, серебристые речи...

Сначала я не совсем понимала их, хотя они часто приходили мне в голову, и лишь теперь я их вполне выразумела...

Между тем мачеха пред концом захотела со мною сви-

деться, я вышла из школы, откуда мне выдали денег в награждение, и возвратилась сюда.

Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, чем прежде. Не то чтобы я возгордилась, но не могла я не спросить себя: отчего я умею и читать и писать и знаю всякое рукоделье, и опрятно я одета, и могу себе хлеба кусок добыть, а другие, такие же как я, из той же деревни, живут себе так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекреститься, правой или левой. И пришло мне на память прежнее моё житьё в той же деревне, и как я так же не знала, какой рукой перекреститься и отчего я стала совсем иная.

И тогда вспомнила я слова доброй, прекрасной Царевны, и стали они мне понятны. Показалось мне, что снова смотрят на меня её светлые, весёлые очи и будто велят они мне приберечь её добро, чтобы оно не пропало.

Тогда стала я собирать вокруг себя ребятишек и стала их забавлять и учить, как меня забавляли и учили. Бог благословил мои силы: ребятишки ко мне привыкли, а я отвожу их от худого, и часто, как задумаюсь в моём кружке, чудятся мне весёлые очи Царевны и как будто поощряют меня.

– Хорошее дело ты затеяла, – отвечал отец Андрей. – Но, добро, теперь лето, на поле простор; ну, а зимой-то как тебе быть?

– Да уж и сама не знаю, – отвечала Настя. – У тётки в доме тесно, семья большая.

– Так и быть уж, я тебе помогу, – отвечал отец Андрей. –

Есть у меня светелка особая: как холода настанут, а ино место и в дождик, собирай свою мелюзгу к нам в светелку. В ином чем тебе жена подсобит, да и я когда поучу, а теперь вот пока тебе книжка, да ещё с картинками. Поди толкуй её с своими ребятишками, а я послушаю, чтобы ты подчас сама не завиралась.

– Спасибо, батюшка, – отвечала Настя, – такой радости не чаяла, и ты сам меня будешь учить?

– И я сам буду тебя учить.

– И матушка будет мне подсоблять?

– И матушка будет тебе подсоблять.

– И светелку дашь?

– И светелку дам.

Настя захлопала в ладоши, все ребятишки собрались вокруг неё, они громким хором запели какую-то детскую песню, которую Настя затягивала лишь в самых торжественных случаях.

Так и пошло дело на лад. Ребятишки по-прежнему собирались вокруг Насти. Когда она отлучалась, жена священника занимала её место, а иногда и отец Андрей, когда был свободен от духовных треб, приходил, садился на скамейку под дубом и учил и учеников, и учительницу.

Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать детей к Насте, а иные и сами приводили, да, приводя, останавливались и прислушивались и даже потихоньку плакали от умиления. Ино место и мужик забывал об ёлке в

праздник, засматриваясь на потеху детей, и часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких. Скоро Настя, при пособии матушки, достигла до того, что не только лохмотья на ребятишках были зашиты, но и сами уже матери, посмотрев раз-два на детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их замарашками, да и сами, глядя на детей, сделались попорядочнее.

Зимою в светелке отца Андрея мало-помалу завелись и доски с песком, на которых дети чертили буквы, а потом, гляди, и скамейки. Почётный смотритель училищ, проезжая раз по деревне и заглянув в светелку отца Андрея, подарил большую чёрную доску с мелом, с дюжину грифельных досок да столько же разных детских книжек, вот какая завелась роскошь! По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не зевали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтягивали дьячку, а миряне, тронутые детскими чистыми голосами, молились усерднее прежнего.

Настя радовалась и благодарила Бога за то, что Он благословил её дело, и вспомнила слова Царевны.

Между тем часто Никита заглядывался на Настю, и даже старики толковали, что не худо бы ему было такую добрую хозяйку себе нажить, но ещё откладывали до поры до времени. И до Насти доходили о том слухи, только что-то они её не радовали; ни с того ни с сего тоска напала на сиротинку, всё ей что-то становилось грустно, и когда отец Андрей спрашивал, что с ней такое, Настя отвечала:

– И сама не знаю, откуда эта грусть и зачем она, а только грустно мне, очень грустно: как будто чувствует сердце что-то недоброе, ничто меня не веселит. По-прежнему во сне и наяву чудятся мне очи моей прекрасной Царевны, но мне всё кажется, что её светлые очи тускнеют. Я смотрю на них, и мне становится жалко, так жалко, что проснусь, и слёзы льются у меня из глаз, и на весь день остаётся на сердце такая грусть, что и сказать нельзя.

Отец Андрей утешал Настю, сколько мог, но понапрасну: она по-прежнему исправляла дело своё, собирала детей, толковала с ними, пела с ними вместе и вдруг останавливалась, и слёзы лились из её глаз сами собою, и она невольно начинала потихоньку молиться.

Между тем дни шли за днями, а Настя с каждым днём всё больше грустила и тосковала, с каждым днём всё больше худела и разнемогалась.

– Тускнут, тускнут весёлые очи моей прекрасной Царевны! – говорила она. – Чувствует моё сердце недоброе: молитесь, дети, за мою Царевну.

Дети не понимали её, но становились на колени и тихо молились о доброй Царевне.

– Нет силы больше, – сказала однажды отцу Андрею. – Во что бы то ни стало, а пойду в Питер, наведаюсь, что сталось с моею Царевною...

Но уже было поздно: силы оставили бедную сиротинку: кашель разрывал её грудь, тело её высохло и сделалось почти

прозрачным, виски и щёки ввалились, и пальцы её дрожали. Уже Настя не могла сходить с места, едва могла говорить и только творила внутреннюю молитву.

Однажды, когда домашние, собравшись вокруг Насти, старались как могли облегчить её страдания и бедный Никитка сам не свой стоял у изголовья умирающей, вдруг Настя вскрикнула:

– Ничего мне теперь не надобно, потухли очи моей Царевны; нет её больше на свете, нет моей родимой... Позовите отца Андрея...

То были последние слова сиротинки... Священник пришёл, благословил, наставил её на путь в ту обитель, где нет ни печали, ни воздыхания, но – жизнь бесконечная...

И не стало на земле сиротинки...

В то время в царских чертогах плакали над другою потерю.